

Лучшие рассказы о Родине.



Рассказы о Родине, о земле нашей русской, о бескрайних просторах родного края в произведениях русской классики известных писателей и педагогов Михаила Пришвина, Константина Ушинского, Ивана Шмелёва, Ивана Тургенева, Ивана Бунина, Евгения Пермяка, Константина Паустовского.

СОДЕРЖАНИЕ:

Моя родина (Из воспоминаний детства)

Наше отечество

Русская песня

Деревня

Косцы

Сказка-присказка про родной Урал

Собрание чудес

Моя родина (Из воспоминаний детства)

Пришвин М.М.

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепёлок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать. И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья! После чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня ещё не было, да и теперь ружьё в моей охоте необязательно.

Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не встречался...

Хозяйство моё было большое, тропы бесчисленные.

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы.

В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес степь, горы.

А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.



Наше отечество

Ушинский К.Д.

Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, напоила своими водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов.

Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку тянется она почти на одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с половиною. Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии...

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать — одна у него и родина.

Русская песня

Иван Шмелёв

Я с нетерпением поджидал лета, следя за его приближением по хорошо мне известным признакам.

Самым ранним вестником лета являлся полосатый мешок. Его вытягивали из огромного сундука, пропитанного запахом камфары, и вываливали из него груды парусиновых курточек и штанишек для примерки. Я подолгу должен был стоять на одном месте, снимать, надевать, опять снимать и снова надевать, а меня поворачивали, закалывали на мне, припускали и отпускали — «на полвершочка». Я потел и вертелся, а за не выставленными ещё рамами качались тополевые ветки с золотившимися от клея почками и радостно голубело небо.

Вторым и важным признаком весны-лета было появление рыжего маляра, от которого пахло самой весной — замазкой и красками. Маляр приходил выставить рамы — «впускать весну» — наводить ремонт. Он появлялся всегда внезапно и говорил мрачно, покачиваясь:

— Ну, и где у вас тут чего?..

И с таким видом выхватывал стамески из-за тесёмки грязного фартука, словно хотел резать. Потом начинал драть замазку и сердито мурлыкать под нос:

И-ах и тём-мы-най ле-со...

Да йехх и тём-мы-на-ай...

Я старался узнать, что дальше, но суровый маляр вдруг останавливал стамеску, глотал из жёлтой бутылочки, у которой на зелёном ярлычке стояло «политура», плевал на пол, свирепо взглядывал на меня и начинал опять:

Ах-ехх и в тём-мы-на-ам ле...

Да и в тём... мы-ны-мм!..

И пел всё громче. И потому ли, что он только всего и пел, что про темный лес, или потому, что вскрикивал и вздыхал, взглядывая свирепо исподлобья, — он казался мне очень страшным.

Потом мы его хорошо узнали, когда он оттаскал моего приятеля Ваську за волосы.

Так было дело.

Маляр поработал, пообедал и завалился спать на крыше сеней, на солнышке. Помурлыкав про темный лес, где «сы-тоя-ла ах да и со-сенка», маляр заснул, ничего больше не сообщив. Лежал он на спине, а его рыжая борода глядела в небо. Мы с Васькой, чтобы было побольше ветру, тоже забрались на крышу — пускать «монаха». Но ветру и на крыше не было. Тогда Васька от нечего делать принялся щекотать соломинкой голые маляровы пятки. Но они были покрыты серой и твердой кожей, похожей на замазку, и маляру было нипочём. Тогда я наклонился к уху маляра и дрожащим тоненьким голосом запел:

И-ах и в тём-мы-ном ле-э...

Рот маляра перекосялся, и улыбка выползла из-под рыжих его усов на сухие губы. Должно быть, было приятно ему, но он всё-таки не проснулся. Тогда Васька предложил приняться за маляра как следует. И мы принялись-таки.

Васька приволок на крышу большую кисть и ведро с краской и выкрасил маляру пятки. Маляр лягнулся и успокоился. Васька соорудил рожу и продолжал.

Он обвел маляру у щиколоток по зелёному браслету, а я осторожно покрасил большие пальцы и ногти.

Маляр сладко похрапывал — должно быть, от удовольствия.

Тогда Васька обвёл вокруг маляра широкий «заколдованный круг», присел на корточки и затянул над самым маляровым ухом песенку, которую с удовольствием подхватил и я:

Рыжий красного спросил:

— Чем ты бороду лучил?

— Я не краской, не замазкой,

Я на солнышке лежал!

Я на солнышке лежал,

Кверху бороду держал!

Маляр заворочался и зевнул. Мы притихли, а он повернулся на бок и выкрасился. Тут и вышло. Я махнул в слуховое окошко, а Васька поскользнулся и попал маляру в лапы. Маляр оттрепал Ваську и грозил окунуть в ведро, но скоро развеселился, гладил по спине Ваську и приговаривал:

— А ты не реви, дурашка. Такой же растёт у меня в деревне. Что хозяйской краски извёл, дура... да ещё ревёт!

С того случая маляр сделался нашим другом. Он пропел нам всю песенку про тёмный лес, как срубили сосенку, как «угы-на-ли добра молодца в чужу-дальнюю сы-то-ронуш-ку!...». Хорошая была песенка. И так жалостливо пел он её, что думалось мне: не про себя ли и пел её? Пел и ещё песенки — про «тёмную ноченьку, осеннюю», и про «берёзыньку», и ещё про «поле чистое»...

Впервые тогда, на крыше сеней, почувствовал я неведомый мне дотолле мир — тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием. Тогда, на крыше сеней, в ворковании сизых голубков, в унылых звуках маляровой песни, приоткрылся мне новый мир — и ласковой и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждёт чего-то... Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, — почувствовал я силу и красоту народного слова русского, мягкость его, и ласку, и раздолье. Просто пришло оно и ласково легло в душу. Потом — я познал его: крепость его и сладость. И всё узнаю его...



Деревня

Иван Тургенев

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край. Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нём — не то плывёт, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смиренно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дёгтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжёлый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщеплённые ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конёк. Неровные стёкла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалёваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть ещё немного посохнет на припёке, а там и в сарай! То-то будет спать на нём славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках. Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжёлых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряжённую телегу, — зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеётся не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на верёвке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой понёве, в новых котях.

Крупные дутые бусы в три ряда обвилились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана жёлтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь ещё видать: красавица была в своё время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть ещё тёплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой телёнок.

— Ай да овёс! — слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде, и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?



Косцы

Иван Бунин

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И берёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и

хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая ещё светлый за зелёными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмеялись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по берёзовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких

несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, её простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной лёгкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи.

Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонущкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг, И, родимая, ах да прощай, сторонущка! — говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя, По тебе ли сердце черней грязи сделалось! — говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес: Коль не любишь, не мил — бог с тобою, Коли лучше найдёшь — позабудешь!

— и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало: Ах, коли лучше найдёшь — позабудешь, Коли хуже найдёшь — пожалеешь!

В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадежности? В том, что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за тёмные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её глушью обступает меня, — и всё-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, чёрные топи болотные, пески летучие — и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие...

Ещё одно, говорю я, было в этой песне — это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далёкие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.

Сказка-присказка про родной Урал

Евгений Пермяк

В этой сказке-присказке всякой разной чепушины хоть отбавляй. В забытые тёмные времена эту байку чей-то досужий язык породил да по свету пустил. Житьишко у неё было так себе. Маломальское. Кое-где она ютилась, кое-где до наших лет дожила и мне в уши попала.

Не пропадать же сказке-присказке! Куда-нибудь, кому-никому, может, и сгодится. Приживётся — пусть живёт. Нет — моё дело сторона. За что купил, за то и продаю.

Слушайте.

Вскорости, как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами населилась, из глубин земли, из степей прикаспинских золотой Змей-полоз выполз. С хрустальной чешуёй, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем...

Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от каспийских полуденных степей до полуночных холодных морей.

Больше тысячи вёрст полз как по струне, а потом вилять начал.

Осенью, видно, дело-то было. Круглая ночь застала его. Ни зги! Как в погребе. Заря даже не занимается.

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби свернул и на Ямал было двинулся. Холодно! Он ведь как- никак из жарких, преисподних мест вышел. Влево пошёл. И прошёл сколько-то сотен вёрст, да увидел варяжские кряжи. Не приглянулись они, видно, полозу. И удумал он через льды холодных морей напрямки махнуть.

Махнуть-то махнул, только каким ни будь толстым лёд, а разве такую махину выдержит? Не выдержал. Треснул. Осел.

Тогда Змей дном моря пошёл. Ему что при неохватной-то толщине! Брюхом по морскому дну ползёт, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет. Только холодно.

Как ни горяча огневая кровь у Змея-полоза, как ни кипит всё вокруг, а море всё-таки не лохань с водой. Не нагреешь.

Остывать начал полоз. С головы. Ну, а коли голову застудил — и тулову конец. Коченеть стал, а вскорости и вовсе окаменел.

Огневая кровь в нём нефтью стала. Мясо — рудами. Рёбра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — самоцветами. А всё прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов.

Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым раздольем, кедровым весельем, лиственничной красотой.

И никому не придёт теперь в голову, что горы когда-то живым Змеем-полозом были.

А годы шли да шли. Люди осели на склонах гор. Каменным Поясом назвали полоза. Опоясал всё- таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое — Урал.

Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое слово, а много в себя вобрало, как Русь...

Собрание чудес

Константин Паустовский

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвёшься, на это озер! — сердился огородный сторож Семён. — Чего не видал? Народ какой пошёл суетливый, хваткий, господи! Всё ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоём. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, это озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семён постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я всё-таки пошёл на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Лёнька и Ваня.

Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Лёньки и Вани. Лёнька всё, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идёт. На сколько он, по- вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Лёнька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Лёнька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толкнул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь! Схватка была короткая, но решительная.

Лёнька подобрал картуз, сплюнул и пошёл, обиженный, обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Лёнькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на всё цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведёт весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород делается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо.

— Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький- махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с чёрной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки.

Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его чёрных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полкове высокий народ, а недогадливы, — избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живёт. Тоже имеет своё назначение. Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин. — Ещё мало учён, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

— Был да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор нам икается. Свирепый был господин. Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил, — он сейчас распаляется и начинает греметь: «В Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» Вот какой был царь! Ну и вышло такое дело, — полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом марш в указанном направлении за тыщу вёрст! Походом! А через тыщу вёрст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь! Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный. Одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полково, в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности, и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты — гренадеры и великаны — наши пращурь. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них всё прописано. И ты подумай, — ещё бы две версты им прошагать и вышли бы к реке, там бы и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, — точно остановились. Народ до сих пор удивляется. «Чего это вы, говорят, полковские, вперлись в лес? Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать,

маловато». Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. «Против приказа, говорят, не попрёшь! Это факт!»

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились берёзами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового ещё шагать и шагать. Это Ларино озерцо.

Пойдём, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько тёмных больших стволов. Они поблёскивали слабым и тёмным огнём, когда до них добиралось солнце.

— Чёрный дуб, — сказал Лялин. — Морёный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжёлое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в тёмной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из чёрной стали. А над водой, отражаясь в ней жёлтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упрётесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдёт тропка до самого озера. Только сторожко идите, — там колков много.

Он попрощался и ушёл. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался всё выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были ещё видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим весёлым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней берёзовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие жёлтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки.

В конце тропы чёрной синевой светилась вода — Боровое озеро. Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копыя, колки, — остатки берёзовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щёчка у каждой ягоды — та, что повёрнута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь.

Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплёскивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утёнок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была чёрная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударил рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился.

Мы пробыли на озере два дня.

Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шёл недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между чёрным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и всё, что я хотел рассказать.

Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.